



ХРИСТИАНСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АЛЬМАНАХ

№ 1



ВЫПУСК № 36
ДЕКАБРЬ 2010

С Рождеством Христовым!



Содержание:

В. С. Соловьев,	
Имману-Эль	4
Ф. Глинка,	
Поклонение волхвов	4
Н. С. Лесков,	
Неразменный рубль	5
Пугало	9

В. С. СОЛОВЬЕВ

Имману-Эль

Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях Неба опочила,
И в тишине родился с-нами-Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.
Да! С нами Бог, - не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он *здесь, теперь*, - среди суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!

Ф. ГЛИНКА

Поклонение волхвов

Даровал Господь Младенца Деве,
Пресвятой Божественной Марии.
Не в палатах царственных, а в хлеве
Встретил мир явление Мессии.
В нищете Рожденный не угадан,
Но пришли к Нему волхвы с Востока,
Злато, смирну и душистый ладан
Принесли с собою издалека.
И сложили дар свой многоценный,
Пред Младенцем опускаясь долу,
И в страну свою толпой смиренной
Отошли, по Божьему глаголу.

1892

Неразменный рубль

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, то есть такой рубль, который, сколько раз его не выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без одной отметины кошку и нести ее продавать рождественской ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, пожав кошку посильнее, так, чтобы она замыкала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошкой. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль, – ни больше, ни меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный, – то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, – он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и недостаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Раз, во время моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рялятся, ворожат и, между прочим, добывают себе «неразменный рубль». Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку; но зато их ждут и самые большие радости... Сколько можно закупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я надеялся, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал

в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокою, и белые пряники – с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или еще проще «шмотья», бывают орехи простые и каленые; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видел картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

– Какое? – спросил я.

– А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.

Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

Глава третья

Няня меня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем большом чепце с рюшевыми мармотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

– Ну, вот тебе беспереводный рубль, – сказала она. – Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один, – совершенно один, – можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоём же кармане.

– Да, – говорю, – я уже все это знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

– Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство, – его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переедет в твоём кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз что ты изведешь хоть один грош на полную беспо-

лезность – твой рубль в то же мгновение исчезнет.

– О, – говорю, – бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

– Прекрасно, – сказала бабушка, – но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

– Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.

– Очень рада, – посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян; помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.

– В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

– О, моя милая бабушка, – отвечал я, – вам и не будет надобности давать мне советы, – я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно.

– В таком разе идем. – И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему позже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Погода была хорошая, – умеренный морозец с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии, и... я посмотрел на бабушку...

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего по-

рицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целехонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

– Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?

Я опустил руку и... мой неразменный рубль был в моем кармане.

– Ага, – подумал я, – теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и закупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по маленькому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, – мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки тоже благополучно оказался в моем кармане.

– Невесте идет принарядиться, – сказала бабушка, – это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать, – от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу пленному теленку, который жил в одной избе со скотницею. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтыря». Бедная старушка была

лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман – мой рубль был снова на своем месте.

Я стал покупать шире и больше, – я брал все, что, по моим соображениям, было нужно, и накопил даже вещи слишком рискованные, – так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке – гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего, – на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.

– Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили – как я умен, богат и добр.

Мне стало беспокойно и скучно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

А в это самое время, – откуда ни возьмись – ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

– Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С этим не шутка удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

– Да, если это будет вещь ненужная, – так я ее, разумеется, не куплю.

– Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других, но вот как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от

которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было все, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

– Я ничего не вижу в этом хорошего, – сказал я моему новому спутнику.

– Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, – за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новой книжкой. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

– И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?

– Да, я это думаю, – отвечал пузан.

– Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! – воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал: – Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем, так что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

– Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

– Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

– Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, – вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блеснуть на минутку, и это всем очень нравится.

– Прекрасно, – отвечал я, – я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу.

Снимайте скорей ваш жилет.

– Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

– Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но... карман мой был пуст... Мой неразменный рубль уже не возвратился... он пропал... он исчез... его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и... проснулся...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Было утро; у моей кровати стояла бабушка, в ее большом белом чепце с рюшевыми мартотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал.

– Что же, – сказала бабушка, – сон твой хорош, – особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. Неразменный рубль – по-моему, это талант, который Провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутье четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль – это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив – чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх теплого полушубка – есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что – очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоём сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что не нужные стекляшки, и – рубль твой растаял. Этому так и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоём сновидении.

– Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

– Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета с стекловидными пуговицами.

– Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

– Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но... если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то... я тебя понимаю...

И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги известить в этот день не для себя. И когда это было мною сделано, то сердце мое исполнилось такой радостью, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом – полное счастье, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.

Пугало

У страха большие глаза.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мое детство прошло в Орле. Мы жили в доме Немчинова, где-то недалеко от "маленького собора". Теперь я не могу разобрать, где именно стоял этот высокий деревянный дом, но помню, что из его сада был просторный вид за широкий и глубокий овраг с обрывистыми краями, прорезанными пластами красной глины. За оврагом расстилался большой выгон, на котором стояли казенные магазины, а возле них летом всегда учились солдаты. Я всякий день смотрел, как их учили и как их били. Тогда это было в употреблении, но я никак не мог к этому привыкнуть и всегда о них плакал. Чтобы это не часто повторялось, моя няня, престарелая московская солдатка - Марина Борисовна, уводила меня гулять в городской сад. Здесь мы садились над мелководной Окой и глядели, как в ней купались и играли маленькие дети, свободе которых я тогда очень завидовал.

Главная выгода их привольного положения в моих глазах состояла в том, что они не имели на себе ни обуви, ни белья, так как рубашонки их были сняты и ворот их с рукавами связаны. В таком приспособлении рубашки получали вид небольших мешков, и ребятишки, ставя их против течения, налавливали туда крохотную серебристую рыбешку. Она так мала, что ее нельзя чистить, и это признавалось достаточным основанием к тому, чтобы ее варить и есть нечищеною.

Я никогда не имел отваги узнать ее вкус, но ловля ее, производившаяся крохотными рыбачками, казалась мне верхом счастья, каким мальчика моих тогдашних лет могла утешить свобода. Няня, впрочем, знала хорошие доводы, что мне такая свобода была бы совершенно неприлична. Доводы эти заключались в том, что я - дитя благородных родителей и отца моего все в городе знают.

- Другое дело, - говорила няня, - если бы это было в деревне. Там, при простых, серых мужиках, и мне, пожалуй, можно было бы позволить наслаждаться кой-чем в том же свободном роде.

Кажется, от этих именно сдерживающих рассуждений меня стало сильно и томительно манить в деревню, и восторг мой не знал пределов, когда родители мои купили небольшое именье в Кромском уезде. Тем же летом мы переехали из большого городского дома в очень уютный, но маленький деревенский дом

с балконом, под соломенную крышею. Лес в Кромском уезде и тогда был дорог и редок. Это местность степная и хлебородная, и притом она хорошо орошена маленькими, но чистыми речками.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В деревне у меня сразу же завелись обширные и любопытные знакомства с крестьянами. Пока отец и мать были усиленно заняты устройством своего хозяйства, я не терял времени, чтобы самым тесным образом сблизиться с взрослыми парнями и с ребятишками, которые пасли лошадей "на кулигах" [Кулига - место, где срублены и выжжены деревья, чащоба, пережога. (Примеч. авт.)]. Сильнее всех моими привязанностями овладел, впрочем, старый мельник, дедушка Илья - совершенно седой старик с преобладающими черными усами. Он более всех других был доступен для разговоров, потому что на работы не отлучался, а или похаживал с навозными вилами по плотине, или сидел над дрожащею скрынью и задумчиво слушал, ровно ли стучат мельничные колеса или не сосет ли где-нибудь под скрынью вода. Когда ему надкучало ничего не делать, - он заготавливал на всякий случай кленовые кулачья или цевки для шестерни. Но во всех описанных положениях он легко отклонялся от дела и вступал охотно в беседы, которые он вел отрывками, без всякой связи, но любил систему намеков и при этом подсмеивался не то сам над собою, не то над слушателями.

По должности мельника дедушка Илья имел довольно близкое соотношение к водяному, который заведовал нашими прудами, верхним и нижним, и двумя болотами. Свою главную штаб-квартиру этот демон имел под холостою скрынью на нашей мельнице. Дедушка Илья об нем все знал и говорил:

- Он меня любит. Он, если когда и сердит домой придет за какие-нибудь беспорядки, - он меня не обижает. Ляжь тут другой на моем месте, на мешках, - он так и сорвет с мешка и выбросит, а меня ни в жизнь не тронет.

Все молодые люди подтверждали мне, что между дедушкою Ильею и "водяным дедкой" действительно существовали описанные отношения, но только они держались вовсе не на том, что водяной Илью любил, а на том, что дедушка Илья, как настоящий, заправский мельник, знал настоящее, заправское мельничное слово, которому водяной и все его чертенята повиновались так же беспрекословно, как ужи и жабы, жившие под скрынями и на плотине.

С ребятами я ловил пискарей и гольцов, которых было великое множество в нашей узенькой, но чистой речке Гостомле; но, по

серьезности моего характера, более держался общества дедушка Илья, опытный ум которого открывал мне полный таинственной прелести мир, который был совсем мне, городскому мальчику, неизвестен. От Илья я узнал и про домового, который спал на катке, и про водяного, который имел прекрасное и важное помещение под колесами, и про кикимору, которая была так застенчива и непостоянна, что пряталась от всякого нескромного взгляда в разных пыльных замках - то в риге, то в овине, то на толчее, где осенью толкли замашки. Меньше всех дедушка знал про лешего, потому что этот жил где-то далеко у Селиванова двора и только иногда заходил к нам в густой раakitник, чтобы сделать себе новую раakitную дудку и поиграть на ней в тени у сажалок. Впрочем, дедушка Илья во всю свою богатую приключениями жизнь видел лешего лицом к лицу всего только один раз и то на Николин день, когда у нас бывал храмовой праздник. Леший подошел к Илье, прикинувшись совсем смиренным мужичком, и попросил понюхать табачку. А когда дедушка сказал ему: "черт с тобой - понюхай!" и при этом открыл тавлинку, - то леший не мог более соблюсти хорошего поведения и сошкольничал: он так поддал ладонью под табакерку, что запорошил доброму мельнику все глаза.

Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную вероятность, и их густое, образное содержание до такой степени переполняло мою фантазию, что я сам был чуть ли не духовидцем. По крайней мере, когда я однажды заглянул с большим риском в толчейный амбар, то глаз мой обнаружил такую остроту и тонкость, что видел сидевшую там в пыли кикимору. Она была неумытая, в пыльном повойнике и с золотушными глазами. А когда я, испуганный этим видением, бросился без памяти бежать оттуда, то другое мое чувство - слух - обнаружило присутствие лешего. Я не могу поручиться, где именно он сидел, - вероятно, на какой-нибудь высокой раките, но только, когда я бежал от кикиморы, леший во всю мочь засвистал на своей зеленой дудке и так сильно прихватил меня к земле за ногу, что у меня оторвался каблук от ботинки.

Едва переводя дух, я сообщил все это домашним и за свое чистосердечие был посажен в комнате читать священную историю, пока посланный босой мальчик сходил в соседнее село к солдату, который мог исправить повреждение, сделанное лешим в моей ботинке. Но и самое чтение священной истории не защищало уже меня от веры в те сверхъестественные существа, с которыми я, можно сказать, сживался при посредстве дедушки Илья. Я хорошо знал и любил священную историю, -

я и до сих пор готов ее перечитывать, а все-таки ребячий милый мир тех сказочных существ, о которых наговорил мне дедушка Илья, казался мне необходимым. Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народною фантазией.

В числе неприятных последствий от лешевой дудки было еще то, что дедушка Илья за прочитанные им для меня курсы демонологии получил от матушки выговор и некоторое время меня дичился и будто не хотел продолжать моего образования. Он даже притворялся, будто гонит меня от себя прочь.

- Пошел от меня прочь, иди к своей няньке, - говорил он, заворачивая меня к себе спиной и поддавая широкой мозолистой ладонью под сиденье.

Но я уже мог гордиться своим возрастом и считать подобное обращение со мною несомненным. Мне было восемь лет, и к няньке своей мне тогда идти было незачем. Я это и дал почувствовать Илье, принеся ему полоскательную чашку вишен из-под слитой наливки.

Дедушка Илья любил эти фрукты - принял их, смягчился, погладил меня своей мозольной рукой по голове, и между нами снова восстановились самые короткие и самые добрые отношения.

- Ты вот что, - говорил мне дедушка Илья, - ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать, но того, что от мужика услышишь, не всем сказывай. А не то - прогоню.

С тех пор я стал таить все, что слышал от мельника, и зато узнал так много интересного, что начал бояться не только ночью, когда все домовые, лешие и кикиморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже стал бояться и днем. Такой страх овладел мною потому, что дом наш и весь наш край, оказалось, находился во власти одного престрашного разбойника и кровожадного чародея, который назывался Селиван. Он жил от нас всего в шести верстах, "на разновилье", то есть там, где большой почтовый тракт разветвлялся на два: одна, новая дорога шла на Киев, а другая, старая, с дуплистыми ракитами "екатерининского насаждения", вела на Фатеж. Эта теперь уже брошена и лежит взапусе.

В версте за этим разновильем был хороший дубовый лес, а при лесе - самый дрянной, совершенно раскрытый и полуобвалившийся постоялый двор, в котором, говорили, будто никто никогда не останавливался. И этому можно было легко верить, потому, что двор не представлял никаких удобств для постоя, и потому, что отсюда было слишком близко до города Кром, где и в те полудикие времена можно было надеяться найти теплую горницу, само-

вар и калачи второй руки. Вот в этом-то ужасном дворе, где никто никогда не останавливался, и жил "пустой дворник" Селиван, ужасный человек, с которым никто не рад был встретиться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Повесть "пустого дворника" Селивана, по словам дедушки Ильи, была следующая. Селиван был кромский мещанин; родители его рано умерли, а он жил в мальчиках у калачника и продавал калачи у кабака за Орловской заставой. Мальчик он был хороший, добрый и послушный, но только калачнику всегда говорили, что с Селиваном требовалась осторожность, потому что у него на лице была красная метинка, как огонь, - а это никогда даром не ставится. Были такие люди, которые знали на это и особенную поговорку: "Бог плута метит". Хозяин-калачник очень хвалил Селивана за его усердие и верность, но все другие люди, по искреннему своему доброжелательству, говорили, что истинное благоразумие все-таки заставляет его остерегаться и много ему не доверять, - потому что "бог плута метит". Если метка на его лице положена, то это именно для того, чтобы все слишком доверчивые люди его остерегались. Калачник не хотел отстать от людей умных, но Селиван был очень хороший работник. Калачи он продавал исправно и всякий вечер аккуратно высыпал хозяину из большого кожаного кошелька все пятаки и гривны, сколько выручил от проезжавших мужичков. Однако метка лежала на нем не даром, а до случая (это уже всегда так бывает). Пришел в Кромы из Орла "отслужившийся палач", по имени Борька, и сказано было ему: "Ты был палач, Борька, а теперь тебе у нас жить будет горько", - и все, насколько кто мог, старались, чтобы такие слова не остались для отставного палача вотще. А когда палач Борька пришел из Орла в Кромы, с ним уже была дочь, девочка лет пятнадцати, которая родилась в остроге, - хотя многие думали, что ей бы лучше совсем не родиться.

Пришли они в Кромы жить по приписке. Это теперь непонятно, но тогда бывало так, что отслужившимся палачам дозволялось приписываться к каким-нибудь городишкам, и делалось это просто, ни у кого на то желания и согласия не спрашивая. Так случилось и с Борькой: велел какой-то губернатор приписать этого старого палача в Кромах - его и приписали, а он пришел сюда жить и привел с собою дочку. Но только в Кромах палач, разумеется, ни для кого не был желанным гостем, а, напротив, все им пренебрегали, как люди чистые, и ни его, ни его девочку решительно ни-

кто не захотел пустить к себе на двор. А время, когда они пришли, было уже очень холодное.

Попросился палач в один дом, потом в другой и не стал более докучать. Он видел, что не возбуждает ни в ком ни малейшего сострадания, и знал, что вполне этого заслужил.

"Но дитя! - думал он. - Дитя не виновато в моих грехах, - кто-нибудь пожалеет дитя".

И Борька опять пошел стучаться из двора во двор, прося взять если не его, то только девочку... Он заклинал, что никогда даже не придет, чтобы навестить дочь. Но и эта просьба была так же напрасна. Кому охота с палачом знаться?

И вот, обойдя городишко, стали эти злополучные пришельцы опять проситься в острог. Там хоть можно было обогреться от осенней мокроты и стужи. Но и в острог их не взяли, потому что срок их острожной неволи минул, и они теперь были люди вольные. Они были свободны умереть под любым забором или в любой канаве.

Милостыню палачу с дочерью иногда подавали, не для них, конечно, а Христа ради, но в дом никуда не пускали. Старик с дочерью не имели приюта и ночевали то где-нибудь под кручею, в глинокопных ямах, то в опустелых сторожевых шалашах на огородах, по долине. Суровую долю их делила тощая собака, которая пришла с ними из Орла.

Это был большой лохматый пес, на котором вся шерсть завойлочилась в войлок. Чем она питалась при своих нищих-хозяевах - это никому не было известно, но, наконец, догадались, что ей вовсе и не нужно было питаться, потому что она была "бесчеревная", то есть у нее были только кости да кожа и желтые, истомленные глаза, а "в середине" у нее ничего не было, и потому пища ей вовсе не требовалась.

Дедушка Илья рассказывал мне, как этого можно достигать "самым легким манером". Любую собаку, пока она щенком, стоит только раз напоить жидко расплавленным оловом или свинцом, и она делается без черева и может не есть. Но, разумеется, при этом необходимо знать "особливое, колдовское слово". А за то, что палач, очевидно, знал такое слово, - люди строгой нравственности убили его собаку. Оно, конечно, так и следовало, чтобы не давать поблажки колдовству; но это было большим несчастьем для нищих, так как девочка спала вместе с собакою, и та уделяла ребенку часть теплоты, которую имела в своей шерсти. Однако для таких пустяков, разумеется, нельзя было потворствовать волшебствам, и все были того мнения, что собака уничтожена совершенно правильно. Пусть колдунам не удастся морочить правоверных.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

После уничтожения собаки девочку согрел в шалашах сам палач, но он уже был стар, и, к его счастью, ему недолго пришлось нести эту непосильную для него заботу. В одну морозную ночь дитя ощутило, что отец ее застыл более, чем она сама, и ей сделалось так страшно, что она от него отодвинулась и даже от ужаса потеряла сознание. До утра пробывла она в объятиях смерти. Когда стало светать и люди, шедшие к заутрене, заглянули из любопытства в шалаш, то они увидели отца и дочь закоченевшими. Девочку кое-как отогрели, и когда она увидела у отца странно остолбенелые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла, в чем дело, и зарыдала.

Старика схоронили за кладбищем, потому что он жил скверно и умер без покаяния, а про его девочку немножко позабыли... Правда, не надолго, всего на какой-нибудь месяц, но когда про нее через месяц вспомнили, - ее уже нигде было отыскивать.

Можно было думать, что сиротка куда-нибудь убежала в другой город или пошла просить милостыню по деревням. Гораздо любопытнее было то, что с исчезновением сиротки соединялось другое странное обстоятельство: прежде чем хватились девочки, было замечено, что без вести пропал куда-то калачник Селиван. Он пропал совершенно неожиданно, и притом так необдуманно, как не делал еще до него никакой другой беглец. Селиван решительно ничего ни у кого не унес, и даже все данные ему для продажи калачи лежали на его лотке, и тут же уцелели все деньги, которые он выручил за то, что продал; но сам он домой не возвращался.

И оба эти сироты считались без вести пропавшими целых три года.

Вдруг, однажды, приезжает с ярмарки купец, которому принадлежал давно опустелый постоялый двор "на разновилье", и говорит, что с ним было несчастье: ехал бн, да плохо направил на гать свою лошадь, и его воз придавил, но его спас неизвестный бродяжка. Бродяжка этот был им узнан, и оказалось, что это не кто иной, как Селиван. Спасенный Селиваном купец был не из таких людей, которые совсем нечувствительны к оказанной им услуге; чтобы не подлежать на страшном суде ответу за неблагодарность, он захотел сделать добро бродяге.

- Я должен тебя осчастливить, - сказал он Селивану, - у меня есть пустой двор на разновилье, иди туда и сиди в нем дворником и продавай овес и сено, а мне плати всего сто рублей в год аренды.

Селиван знал, что на шестой версте от городка, по запустевшей дороге, постоялому двору не место, и, в нем сидючи, никакого заезда ждать невозможно; но, однако, как это был еще первый случай, когда ему предлагали иметь свой угол, то он согласился. Купец пустил.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Селиван приехал во двор с маленькой ручной одноколесной навозницей, в которой у него местились пожитки, а на них лежала, закинув назад голову, больная женщина в жалких лохмотьях.

Люди спросили у Селивана:

- Кто это такая? Он отвечал:

- Это моя жена.

- Из каких она мест родом? Селиван кротко отвечал:

- Из божьих.

- Чем она больна?

- Ногами недужна.

- А отчего она так недужает? Селиван, насупясь, буркнул:

- От земного холода.

Больше он не стал говорить ни слова, поднял на руки свою немощную калеку и понес ее в избу. Словоохотливости и вообще приятной общительности в Селиване не было; людей он избегал, и даже как будто боялся, и в городе не показывался, а жены его совсем никто не видал с тех пор, как он ее сюда привез в ручной навозной тележке. Но с тех пор, когда это случилось, уже прошло много лет, - молодые люди тогдашнего века уже успели состариться, а двор в разновилье еще более обветшал и развалился; но Селиван и его убогая калека всё жили здесь и, к общему удивлению, платили за двор наследникам купца какую-то плату.

Откуда же этот чудак выручал все то, что было нужно на его собственные нужды и на то, что следовало платить? совершенно разрушенный двор? Все знали, что сюда никогда не заглядывал ни один проезжающий и не кормил здесь своих лошадей ни один обоз, а между тем Селиван хотя жил бедственно, но все еще не умирал с голода.

Вот в этом-то и был вопрос, который, впрочем, не очень долго томил окрестное крестьянство. Скоро все поняли, что Селиван знался с нечистой силою... Эта нечистая сила и устраивала ему довольно выгодные и для обыкновенных людей даже невозможные делишки.

Известно, что дьявол и его помощники имеют большую охоту делать людям всякое зло; но особенно им нравится вынимать из людей души так неожиданно, чтобы они не успели очистить себя покаянием. Кто из людей помогает таким проискам, тому вся нечистая си-

ла, то есть все лешие, водяные и кикиморы охотно делают разные одолжения, хотя, впрочем, на очень тяжелых условиях. Помогающий чертям должен сам за ними последовать в ад, - рано или поздно, но непременно. Селиван находился именно на этом роковом положении. Чтобы кое-как жить в своем разоренном домишке, он давно продал свою душу нескольким чертям сразу, а эти с тех пор начали загонять к нему на двор путников самыми усиленными мерами. Назад же от Селивана не выезжал никто. Делалось это таким образом, что лешие, сговорясь с кикиморами, вдруг перед ночью поднимали вьюги и метели, при которых дорожный человек растеривался и спешил спрятаться от разгулявшейся стихии куда попало. Селиван тогда сейчас же и выкидывал хитрость: он выставял огонь на свое окошко, и на этот свет к нему попадали купцы с толстыми чередами, дворяне с потайными шкапулками и попы с меховыми треухами, подложенными во всю ширь денежными бумажками. Это была ловушка. Назад из Селивановых ворот уже не было поворота ни одному из тех, кто приехал. Куда их девал Селиван, - про то никому не было известно.

Дедушка Илья, договорившись до этого, только проводил по воздуху рукой и внушительно произносил:

- Сова летит, лушь плывет - ничего не видно: буря, метель и... ночь матка - все гладко.

Чтобы не уронить себя во мнении дедушки Ильи, я притворялся, будто понимаю, что значит "сова летит и лушь плывет", а понимал я только одно, что Селиван - это какое-то общее пугало, с которым чрезвычайно опасно встретиться... Не дай бог этого никому на свете.

Я, впрочем, старался проверить страшные рассказы про Селивана и от других людей, но все в одно слово говорили то же самое. Все смотрели на Селивана как на страшное пугало, и все так же, как- дедушка Илья, строго заказывали мне, чтобы я "дома, в хоробах, никому про Селивана не сказывал". По совету мельника, я эту мужичью заповедь исполнял до особого страшного случая, когда я сам попался в лапы Селивану.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Зимой, - когда в доме вставили двойные рамы, я не мог по-прежнему часто видаться с дедушкой Ильей и с другими мужиками. Меня берегли от морозов, а они все остались работать на холоду, причем с одним из них произошла неприятная история, выдвинувшая опять на сцену Селивана.

В самом начале зимы племянник Ильи, мужик Николай, пошел на свои именины в Кромы, в гости, и не .возвратился, а через две не-

дели его нашли на опушке у Селиванова леса. Николай сидел на пне, опершись бороною на палочку, и, по-видимому, отдыхал после такой сильной усталости, что не заметил, как метель замела его выше колен снегом, а лисицы обкусили ему нос и щеки.

Очевидно, Николай сбился с дороги, устал и замерз; но все знали, что это вышло неспроста и не без Селивановой вины. Я узнал об этом через девушек, которых было у нас в комнатах очень много, и все они большею частью назывались Аннушками. Была Аннушка большая, Аннушка меньшая, Аннушка рябая и Аннушка круглая, и потом еще Аннушка, по прозвищу "Шибайнок". Эта последняя была у нас в своем роде фельетонистом и репортером. Она по своему живому и резвому характеру получила и свою бойкую кличку.

Не Аннушками звали только двух девушек - Неонилу да Настю, которые числились на некотором особом положении, потому что получили особенное воспитание в тогдашнем модном орловском магазине мадам Морозовой, да еще были в доме три побегушки-девочки - Оська, Моська и Роська. Крестное имя одной из них было Матрена, другой Раиса, а как звали по-настоящему Оську - этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились еще в малолетстве, и потому к ним все относились довольно презрительно. Они еще бегали босиком и не имели права садиться на стульях, а присаживались внизу, на подножных скамейках. По должности они исполняли разные унижительные поручения, как-то: чистили тазы, выносили умывальные лоханки, провожали гулять комнатных собачек и бегали скороходами на посылках за кухонными людьми и на деревню. В теперешних помещичьих домах уже нигде нет такого излишнего многолюдства, но тогда оно казалось необходимым.

Все наши девы и девчонки, разумеется, много знали о страшном Селиване, вблизи двора которого замерз мужик Николай. По этому случаю теперь вспомнили Селивану все его старые проделки, о которых я прежде и не знал. Теперь обнаружилось, что кучер Константин, едучи один раз в город за говядиной, слышал, как из окна Селивановой избы неслись жалобные стоны и слышались слова: "Ой, ручку больно! Ой, пальчик режет".

Девушка, Аннушка большая, объясняла это так, что Селиван забрал к себе во время метели (по-орловски - куры) целый господский возок с целым дворянским семейством и медленно отрезал дворянским детям пальчик за пальчиком. Это страшное варварство ужасно меня перепугало. Потом башмачнику Ивану приключилось что-то еще более страшное и вдобавок необъяснимое. Раз, когда его послали в

город за сапожным товаром и он, позамешкавшись, возвращался домой темным вечером, то поднялась маленькая метель, - а это составляло первое удовольствие для Селивана. Он сейчас же вставал и выходил на поле, чтобы вестись во мгле вместе с Ягою, лешими и кикиморами. И башмачник это знал и остерегался, но не остерегся. Селиван выскочил у него перед самым носом и загородил ему дорогу... Лошадь стала. Но башмачник, к его счастью, от природы-был смел и очень находчив. Он подошел к Селивану, будто с ласкою, и проговорил: "Здравствуй, пожалуйста", а в это самое время из рукава кольнул его самым большим и острым шилом прямо в живот. Это единственное место, в которое можно ранить колдуна насмерть, но Селиван спасся тем, что немедленно обратился в толстый верстовой столб, в котором острый инструмент башмачника застрял так крепко, что башмачник никак не мог его вытащить и должен был расстаться с шилом, между тем как оно ему было решительно необходимо.

Этот последний случай был даже обидною насмешкою над честными людьми и убедил всех, что Селиван действительно был не только великий злодей и лукавый колдун, но и нахал, которому нельзя было давать спуска. Тогда его решили проучить строго; но Селиван тоже не был промах и научился новой хитрости: он начал "скидываться", то есть при малейшей опасности, даже просто при всякой встрече, он стал изменять свой человеческий вид и у всех на глазах обращаться в различные одушевленные и неодушевленные предметы. Правда, что благодаря общему против него возбуждению он и при такой ловкости все-таки немножко страдал, но искоренить его никак не удавалось, а борьба с ним иногда даже принимала немножко смешной характер; что всех еще более обижало и злило. Так, например, после того, когда башмачник изо всей силы проколол его шилом и Селиван спасся только тем, что успел скинуться верстовым столбом, несколько человек видели это шило торчавшим в настоящем верстовом столбе. Они пробовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось, и башмачнику привезли только одну ничего не стоящую деревянную ручку.

Селиван же и после этого ходил по лесу, как будто его даже совсем и не кололи, и скидывался кабаном до такой степени истово, что ел дубовые желуди с удовольствием, как будто такой фрукт мог приходиться ему по вкусу. Но чаще всего он вылезал под видом красного петуха на свою черную растрепанную крышу и кричал оттуда "ку-ка-реку!". Все знали, что его, разумеется, занимало не пение "ку-ка-

реку", а он высматривал, не едет ли кто-нибудь такой, против кого стоило бы подучить лешего и кикимору поднять хорошую бурю и затормозить его до смерти. Словом, окрестные люди так хорошо отгадывали все его хитрости, что никогда не поддавались злодею в его сети и даже порядком мстили Селивану за его коварство. Один раз, когда он, скинувшись кабаном, встретился с кузнецом Савельем, который шел пешком из Кром со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка, но кузнец остался победителем благодаря тому, что у него, к счастью, случилась в руках претяжелая дубина. Оборотень притворился, будто он не желает обращать на кузнеца ни малейшего внимания и, тяжело похрюкивая, чавкал желуди, но кузнец проник острым умом его замысел, который состоял в том, чтобы пропустить его мимо себя и потом напасть на него сзади, сбить с ног и съесть вместо желудка. Кузнец решил предупредить беду; он поднял высоко над головою свою дубину и так треснул ею кабана по храпе, что тот жалобно взвизгнул, упал и более уже не поднимался. А когда кузнец после этого начал поспешно уходить, то Селиван опять принял на себя свой человеческий вид и долго смотрел на кузнеца со своего крылечка - очевидно, имея против него какое-то самое недружелюбное намерение.

После этой ужасной встречи кузнеца даже была лихорадка, от которой он спасся единственно тем, что пустил по ветру за окно хинный порошок, который ему был прислан из горницы для приема. Кузнец слыл за человека очень рассудительного и знал, что хина и всякое другое аптечное лекарство против волшебства ничего сделать не могут. Он оттерпелся, завязал на суровой нитке узелок и бросил его гнить в навозную кучу. Этим было все кончено, потому что как только узелок и нитка сгнили, так и сила Селивана должна была кончиться. И это так и сделалось. Селиван после этого случая в свинью уже никогда более не скидывался, или по крайней мере с тех пор его никто решительно не встречал в этом неопрятном виде.

С проказами же Селивана в образе красного петуха было еще удачнее: на него ополчился косою мирошник Савка, преудалый парень, который действовал всех предусмотрительнее и ловчее.

Будучи послан раз в город на подторжье, он ехал верхом на очень ленивой и упрямой лошади. Зная такой нрав своего коня, Савка взял с собою на всякий случай потихоньку хорошее березовое полено, которым надеялся запечатлеть сувенир в бока своего меланхолического буцефала. Кое-что в этом роде он и успел уже сделать и настолько переломить характер сво-

его коня, что тот, потеряв терпение, стал по-немножку припрыгивать.

Селиван, не ожидая, что Савка так хорошо вооружен, как раз к его приезду выскочил петухом на застреху и начал вертеться, глазеть на все стороны да петь "ку-ка-реку!". Савка не сробел колдуна, а, напротив, сказал ему: "Э, брат, врешь - не уйдешь", и с этим, недолго думая, так ловко швырнул в него своим поленом, что тот даже не допел до конца своего "ку-ка-реку" и свалился мертвым. По несчастью, он только упал не на улицу, а во двор, где ему ничего не стоило, коснувшись земли, опять принять на себя свой природный чело-веческий образ. Он сделался Селиваном и, выбежав, погнался за Савкою, имея в руке то же самое полено, которым его угостил Савка, когда он пел петухом на крыше.

По рассказам Савки, Селиван в этот раз был так взбешен, что Савке могло прийти от него очень плохо, но Савка был парень сообразительный и отлично знал одну преползную штуку. Он знал, что его ленивая лошадь сразу забывает о своей лени, если ее поворотить домой, к яслям. Он это и сделал. Как только Селиван, вооруженный поленом, на Савку кинулся, - Савка враз повернул коня в обратный путь и скрылся. Он прискакал домой, не имея на себе лица от страха, и рассказал о бывшей с ним страшной истории только на другой день. И то слава богу, что заговорил, а то боялись, как бы он не остался нем навсегда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вместо оробевшего Савки был наряжен другой, более смелый посол, который достиг Кром и возвратился назад благополучно. Однако и этот, совершив путешествие, говорил, что ему легче бы сквозь землю провалиться, чем ехать мимо Селиванова двора. То же самое чувствовали и другие: страх стал всеобщий; но зато со стороны всех вообще началось и за Селиваном всеобщее усиленное смотрение. Где бы и чем бы он ни скидывался, его везде постоянно обнаруживали и во всех видах стремились пресечь его вредное существование. Являлся ли Селиван у своего двора овцою или телянком, - его все равно узнавали и били, и ни в каком виде ему не удавалось укрыться. Даже когда он один раз выкатился на улицу в виде нового свежесмоленного тележного колеса и лег на солнце сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена, и умные люди разбили колесо на мелкие части так, что и втулка и спицы разлетелись в разные стороны.

Обо всех этих происшествиях, составлявших героическую эпопею моего детства, мною своевременно получались скорые и самые достоверные сведения. Быстроте известий много

содействовало то, что у нас на мельнице всегда случалась отменная заезжая публика, приезжавшая за помолом. Пока мельничные жернова мололи привезенные ими хлебные зерна, уста помольцев еще усерднее мололи всяческий вздор, а оттуда все любопытные истории приносились в девичью Мосьюкою и Росьюкою и потом в наилучшей редакции сообщались мне, а я начинал о них думать целые ночи и создавал презанимательные положения для себя и для Селивана, к которому я, несмотря на все, что о нем слышал, - питал в глубине моей души большое сердечное влечение. Я бесповоротно верил, что настанет час, когда мы с Селиваном как-то необыкновенно встретимся - и даже полюбим друг друга гораздо более, чем я любил дедушку Илью, в котором мне не нравилось то, что у него один, именно левый, глаз всегда немножко смеялся.

Я никак не мог долго верить, что Селиван делает все свои сверхъестественные чудеса, с злым намерением к людям, и очень любил о нем думать; и обыкновенно, чуть я начинал засыпать, он мне снился тихим, добрым и даже обиженным. Я его никогда еще не видал и не умел себе представить его лица по искаженным описаниям рассказчиков, но глаза его я видел, чуть закрывал свои собственные. Это были большие глаза, совсем голубые и предобрые. И пока я спал, мы с Селиваном были в самом приятном согласии: у нас с ним открывались в лесу разные секретные норки, где у нас было напрягано много хлеба, масла и теплых детских тулупчиков, которые мы доставали, бегом носили к известным нам избам по деревьям, клали на слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянул, и сами убежали.

Это были, кажется, самые прекрасные сновидения в моей жизни, и я всегда сожалел, что с пробуждением Селиван опять делался для меня тем разбойником, против которого всякий добрый человек должен был принимать все меры предосторожности. Признаться, я и сам не хотел отстать от других, и хотя во сне я вел с Селиваном самую теплую дружбу, но наяву я считал нелишним обеспечить себя от него даже издали. С этой целью я, путем немалой лести и других унижений, выпросил у ключницы хранившийся у нее в кладовой старый, очень большой кавказский кинжал моего отца. Я подвязал его на кутас, который снял с дядиного гусарского кивера, и мастерски спрятал это оружие в головах, под матрац моей постельки. Если бы Селиван появился ночью в нашем доме, я бы непременно против него выступил.

Об этом скрытом цейхгаузе не знали ни отец, ни мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе кинжал у меня, конеч-

но, был бы отобран, а тогда Селиван мог помешать мне спать спокойно, потому что я все-таки его ужасно боялся. А он между тем уже делал к нам подходы, но наши бойкие девушки его сразу же узнали. К нам в дом Селиван дерзнул появляться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала он просто шумел по ночам в кладовой, а потом один раз спустился в глубокий долбленный липовый наполь, на дне которого ставили, покрывая решетом, колбасы и другие закуски, сберегаемые для приема гостей. Тут Селиван захотел сделать нам серьезную домашнюю неприятность - вероятно, в отплату за те неприятности, какие он перенес от наших мужиков. Оборотясь рыжею крысою, он вскочил на самое дно в липовый наполь, сдвинул каменный гнеток, который лежал на решетке, и съел все колбасы, но зато назад никак не мог выскочить из высокой кад. Здесь Селивану, по всем видимостям, никак невозможно было избежать заслуженной казни, которую вызвалась произвести над ним самая скорая Аннушка Шибаёнок. Она явилась для этого с целым чугуном кипятку и с старою вилкою. Аннушка имела такой план, чтобы сначала ошпарить оборотня кипятком, а потом приколоть его вилкою и выбросить мертвого в бурьян на расклевань воронам. Но при исполнении казни произошла неловкость со стороны Аннушки круглой, она плеснула кипятком на руку самой Аннушке Шибаёнку; та выронила от боли вилку, а в это время крыса укусила ее за палец и с удивительным проворством по ее же рукаву выскочила наружу и, произведя общий перепуг всех присутствующих, сделалась невидимкой.

Родители мои, смотревшие на это происшествие обыкновенными глазами, приписывали глупый исход травли неловкости наших Аннушек; но мы, которые знали тайные пружины дела, знали и то, что тут ничего невозможно было сделать лучшего, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиван. Рассказать об этом старшим мы, однако, не смели. Как простосердечный народ, мы боялись критики и насмешек над тем, что сами почитали за несомненное и очевидное. Через порог передней Селиван перешагнуть не решался ни в каком виде, как мне казалось, потому, что он кое-что знал о моем кинжале. И мне это было и лестно и досадно, потому что, собственно говоря, мне уже стали утомительны одни толки и слухи и во мне разгоралось страстное желание встретиться с Селиваном лицом к лицу.

Это во мне обратилось, наконец, в томление, в котором и прошла вся долгая зима с ее бесконечными вечерами, а с первыми весенними потоками с гор у нас случилось происшествие, которое расстроило весь порядок

жизни и дало волю опасным порывам несдержанных страстей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Случай был неожиданный и печальный. В самую весеннюю ростепель, когда, по народному выражению, "лука быка топит", из далекого тетушкина имения прискакал верховой с роковым известием об опасной болезни девушки. Длинный переезд в такую распутицу был сопряжен с большою опасностью; но отца и мать это не остановило, и они пустились в дорогу немедленно. Ехать надо было сто верст, и не иначе, как в простой тележке, потому что ни в каком другом экипаже проехать совсем было невозможно. Телугу сопровождали два вершника с длинными шестами в руках. Они ехали вперед и ощупывали дорожные просовы. Я и дом были оставлены на попечение особого временного комитета, в состав которого входили разные лица по разным ведомствам. Аннушке большой были подчинены все лица женского пола до Оськи и Роськи; но высший нравственный надзор поручен был старостихе Дементьевне. Интеллигентное же руководство нами - в рассуждении наблюдения праздников и дней недельных - было вверено диаконскому сыну Аполлинарию Ивановичу, который, в качестве исключенного из семинарии ритора, состоял при моей особе на линии наставника, Он учил меня латинским склонением и вообще приготавливал к тому, чтобы я мог на следующий год поступить в первый класс орловской гимназии не совершенным дикарем, которого способны удивить латинская грамматика Белюстина и французская - Ломонда.

Аполлинарий был юноша светского направления и собирался поступить в "приказные", или, по-нынешнему говоря, в писцы - в орловское губернское правление, где служил его дядя, имевший презанимательную должность. Если какой-нибудь становой или исправник не исполнял какого-нибудь предписания, то дядю Аполлинария посылали на одной лошади "нарочным" на счет виновного. Он ездил, не платя за лошадей денег, и, кроме того, получал с виновных дары и подарки и видел разные города и много разных людей разных чинов и обычаев. Мой Аполлинарий тоже имел в виду со временем достичь такого счастья и мог надеяться сделать гораздо более своего дяди, потому что он обладал двумя большими талантами, которые могли быть очень приятны в светском обхождении: Аполлинарий играл на гитаре две песни: "Девушка крапивушку жала" и вторую, гораздо более трудную - "Под вечер осенью ненастной", и, что еще реже было в тогдашнее время в провинциях, - он умел сочинять прекрасные стихи

дамам, за что, собственно, и был выгнан из семинарии.

Мы с Аполлинарием, несмотря на разницу наших лет, держались как друзья, и, как прилично верным друзьям, мы крепко хранили взаимные тайны. В этом случае на его долю приходилось немножко меньше, чем на мою: мои все секреты заключались в находившемся у меня под матрацем кинжале, а я обязан был глубоко таить два вверенные мне секрета: первый касался спрятанной в шкафе трубки, из которой Аполлинарий курил вечером в печку кисло-сладкие белые нежинские корешки, а второй был еще важнее - здесь дело шло о стихах, написанных Аполлинарием в честь некоей "легко-носной Пулхерии".

Стихи были, кажется, очень плохие, но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут произвести впечатление, если их хорошенько, с чувством прочесть нежной и чувствительной женщине.

Это предполагало большую и даже в нашем положении непреодолимую трудность, потому что маленьких барышень у нас в доме не было, а барышням взрослым, которые иногда приезжали, Аполлинарий не смел предложить быть его слушательницами, так как он был очень застенчив, а между нашими знакомыми барышнями водились большие насмешницы. Нужда научила Аполлинария выдумать компромисс, - именно, декламировать оду, написанную "Легконосной Пулхерии", перед нашей девушкой Неонилой, которая усвоила себе в модном магазине Морозовой разные отшлифованные городские манеры и, по соображениям Аполлинария, должна была иметь тонкие чувства, необходимые для того, чтобы почувствовать достоинство поэзии.

По малолетству моему я боялся подавать своему учителю советы в его поэтических опытах, но считал его намерение декламировать стихи перед швеею рискованным. Я, разумеется, судил по себе и хотя брал в соображение, что молоденькой Неониле знакомы некоторые предметы городского круга, но едва ли ей может быть понятен язык высокой поэзии, каким Аполлинарий обращался к воспеваемой им Пулхерии. Притом в оде к "Легконосице" были такие восклицания: "О ты, жестокая!" или "Исчезни с глаз моих!" и тому подобные. Неонила от природы имела робкий и застенчивый характер, и я боялся, что она примет это на свой счет и непременно расплачется и убежит.

Но всего хуже то, что при обыкновенном строгом домашнем порядке нашей домашней жизни вся эта задуманная ритором поэтическая репетиция была совершенно невозможна.

Ни время, ни место, ни даже все другие условия не благоприятствовали тому, чтобы Неонила слушала стихи Аполлинария и была их первою ценительницею. Однако безначалием, которое водворилось у нас с отъездом родителей, все изменилось, и ритор захотел этим воспользоваться. Теперь мы, забыв всякую разность своих положений, ежедневно играли по вечерам в короли, а Аполлинарий даже курил в комнатах свои нежинские корешки и садился в столовой в отцовском кресле, что меня немножко обижало. Кроме того, по его же настоянию у нас несколько раз была затеяна игра в жмурки, причем мне и брату набили синяки. Потом мы играли в прятки, и раз даже был устроен формальный фестиваль, с большим угощением. Кажется, все это делалось "на шереметевский счет", как в тогдашнее время бражничали многие неосмотрительные кутилы, по гибельному пути которых направились и мы, увлекаемые ритором. Мне до сих пор неизвестно, от кого тогда были предложены собранию целый мешочек самых зрелых лесных орехов, добытых из мышиных норок (где обыкновенно бывают только орехи самого высшего сорта). Кроме орехов, были три свертка серой бумаги с желтыми паточными груздиками, подсолнухами и засмоквенной грушей. Последняя очень прочно липла к рукам и не скоро отмывалась.

Так как этот последний фрукт пользовался особым вниманием, то груши давались только в розыгрыш на фанты. Моська, Оська и Роська, по существенному своему ничтожеству, смокв вовсе не получали. В фантах участвовали Аннушка и я да мой наставник Аполлинарий, который оказался очень ловким выдумщиком. Происходило все это в гостиной комнате, где, бывало, сидели только очень почетные гости. И тут-то, в чаду увлечения веселостями, в Аполлинария вошел какой-то отчаянный дух, и он задумал еще более дерзкое предприятие. Он захотел декламировать свою оду в грандиозной и даже ужасающей обстановке, при которой должны были подвергнуться самому высшему напряжению самые сильные нервы. Он начал всех нас подговаривать, чтобы отправиться всем вместе в будущее воскресенье за ландышами в Селиванов лес. А вечером, когда мы с ним ложились спать, он мне открылся, что ландыши тут один только предлог, а главная цель в том, чтобы прочесть стихи в самой ужасной обстановке.

С одной стороны будет действовать страх от Селивана, а с другой - страх от ужасных стихов. Каково это выйдет и можно ли это выдержать? Представьте же себе, что мы на это отважились.

В оживленности, которою все мы были охвачены в этот достопамятный весенний вечер, нам представлялось, что все мы смелы и можем совершить отчаянную штуку безопасно. В самом деле, нас будет много, и притом я возьму, разумеется, свой огромный кавказский кинжал.

Признаться, мне очень хотелось, чтобы и все другие вооружились сообразно своей силе и возможности, но я ни у кого не встретил к этому должного внимания и готовности. Аполлинарий брал только чубук да гитару, а с девушками ехали таганы, сковороды, котелки с яйцами и чугунок. В чугунке предполагалось варить пшенный кулеш с салом, а на сковороде жарить яичницу, и в этом смысле они были прекрасны; но в смысле обороны, на случай возможных проделок со стороны Селивана, решительно ничего не значили.

Впрочем, по правде сказать, я был и еще кое за что недоволен моими компаньонами, а именно - я не чувствовал с их стороны того внимания к Селивану, каким я сам был проникнут. Они и боялись его, но как-то легкомысленно, и даже рисковали критически над ним подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что она возьмет пирожную скалку и скалкой его убьет, а Шибаёнок смеялась, что она его загрызть может, и при этом показывала свои белые-пребелые зубы и перекусывала ими кусочек проволоки. Все это как-то не солидно; всех превзошел ритор. Он совсем отвергал существование Селивана - говорил, что его даже никогда не было и что он просто есть изобретение фантазии, такое же, как Пифон, Цербер и тому подобное.

Тогда я первый раз видел, до чего способен человек увлекаться в отрицаниях! К чему же тогда вся риторика, если она позволяет поставить на одну ступень вероятность баснословного Пифона с Селиваном, действительное существование которого подтверждалось множеством очевидных событий. Я этому соблазну не поддался и сберег мою веру в Селивана. Даже более того, я верил, что ритор за свое неверие будет непременно наказан. Впрочем, если не строго относиться к этим философствованиям, то затеянная поездка в лес обещала много веселости, и никто не хотел или не мог заставить себя приготовиться к явлениям другого сорта. А меж тем благоразумие заставляло весьма поостеречься в этом проклятом лесу, где мы будем, так сказать, в самой пасти у зверя.

Все думали только о том, как им весело будет разбрестись по лесу, куда все боятся ходить, а они не боятся. Размышляли о том, как мы пройдем насквозь весь опасный лес, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и ов-

ражки, в которых дотлевет последний снег, аи не подумали, будет ли все это одобрено, когда возвратится наше высшее начальство. Впрочем, мы зато имели ввиду изготовить на туалет мамы два большие букета из лучших ландышей, а из остальных сделать душистый перегон, который во все предстоящее лето будет давать превосходное умывание от загара.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Нетерпеливо дождавшись воскресенья, мы оставили в доме на хозяйстве старостиху Деметьевну, а сами отправились к Селиванову лесу. Вся публика шла пешкам, держась более просохших высоких рубежей, где уже зеленела первая изумрудная травка, а по дороге следовал обоз, состоявший из телеги, запряженной старою буланною лошадию. На телеге лежала Аполлинариева гитара и взятые на случай ненастья девичьи кацавейки. Правил лошадью я, а назади, в качестве пассажиров, помещались Роська и другие девчонки, из которых одна бережно везла в коленях кошелочку с яйцами, а другая имела общее попечение о различных предметах, но наиболее поддерживала рукою мой огромный кинжал, который был у меня подвешен через плечо на старом гусарском шнуре от дядина этишкета и болтался из стороны в сторону, значительно затрудняя мои движения и отрывая мое внимание от управления лошадью.

Девушки, идучи по рубежу, пели: "Распашу ль я пашеньку, посею ль я лен-конопель", а ритор им вторил басом. Попадавшие нам навстречу мужики кланялись и опрашивали:

- Куда поднялись? Аннушки им отвечали:

- Идем Селиванку в плен брать. Мужики помахивали головами и говорили:

- Угорелые!

Мы и действительно были в каком-то чаду, нас охватила неудержимая полудетская потребность бегать, петь, смеяться и делать все очертя голову.

А между тем час езды по скверной дороге начал на меня действовать неблагоприятно - старый буланный мне надоел, и во мне охладела охота держать в руках веревочные вожжи; но невдалеке, на горизонте, засинел Селиванов лес, и все ожило. Сердце забилося и заныло, как у Вара при входе в Тевтобургские дебри. А в это же время из-под талой межи выскочил заяц и, пробежав через дорогу, понесся по полю.

- Фуй, чтоб тебе пусто было! - закричали вслед ему Аннушки.

Они все знали, что встреча с зайцем к добру никогда не бывает. И я тоже струсил и схватился за свой кинжал, но так увлекся заботами об извлечении его из заржавевших ножен, что

не заметил, как выпустил из рук вожжи и, с совершенною для себя неожиданностию, очутился под опрокинувшеюся телегою, которую потянувшийся на рубеж за травкою буланый повернул самым правильным образом, так что все четыре колеса очутились вверху, а я с Роськой и со всею нашею провизиею явились под спудом...

Это несчастье с нами случилось моментально, но последствия его были неисчислимы: гитара Аполлинария была разломана вдребезги, а разбитые яйца текли и заклеивали нам лица своим содержимым. Вдобавок Роська редела.

Я был всемерно подавлен и сконфужен и до того растерялся, что даже желал, чтобы нас лучше совсем не освобождали; но я уже слышал голоса всех Аннушек, которые, трудясь над нашим освобождением, тут же, очень выгодно для меня, разъяснили причину нашего падения. Я и буланый были тут ни в чем не причинны: все это было делом Селивана.

Это была первая хитрость, чтобы не допустить нас к его лесу; но, однако, она никого сильно не испугала, а, напротив, только привела всех в большое негодование и увеличила решимость во что бы то ни стало исполнить всю задуманную нами программу. Нужно было только поднять телегу, поставить нас на ноги, смыть с нас где-нибудь у ручейка неприятную яичную слизь и посмотреть, что уцелело после нашего крушения из вещей, взятых для дневного продовольствия нашей многочисленной группы.

Все это и было кое-как сделано. Меня и Роську вымыли у ручья, который бежал под самым Селивановым лесом, и когда глаза мои раскрылись, то свет мне показался очень невзрачным. Розовые платья девочек и мой новый бешмет из голубого кашемира были никуда негодны: покрывшие их грязь и яйца совсем их испортили и не могли быть отмыты без мыла, которого мы с собой не захватили. Чугун и сковородка были расколоты, от тагана валялись одноножки, а от гитары Аполлинария остался один гриф с закрутившимися на нем струнами. Хлеб и другая сухая провизия были в грязи. По меньшей мере нам угрожал голодный голод, если не считать ни во что других ужасов, которые чувствовались во всем окружающем. В долине над ручьем свистел ветер, а черный, еще не убранный зеленью лес шумел и зловеще махал на нас своими прутьями.

Настроение духа во всех нас значительно понизилось, - особенно в Роське, которая озябла и плакала. Но однако, мы все-таки решили вступить в Селиваново царство, а дальше пусть будет что будет. Во всяком случае одно

и то же приключение без какой-нибудь перемены не могло повториться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Все перекрестились и начали входить в лес. Входили робко и нерешительно, но каждый скрывал от других свою робость. Все только уговаривались как можно чаще перекликаться. Но, впрочем, не оказалось и большой нужды в перекличке, потому что никто далеко вглубь не ушел, все мы как будто случайно беспрестанно скучивались к краю и тянулись веревочкой вдоль опушки. Один Аполлинарий оказался смелее других и несколько углубился в чащу: он заботился найти самое глухое и страшное место, где его декламация могла бы произвести как можно более ужасное впечатление на слушательниц; но зато, чуть только Аполлинарий скрылся из вида, лес вдруг огласился его пронзительным, неистовым криком. Никто не мог себе вообразить, какая опасность встретила Аполлинария, но все его покинули и бросились бежать вон из леса на поляну, а потом, не оглядываясь, назад, - дальше, по дороге к дому. Так бежали все Аннушки и все Моськи, а за ними, продолжая кричать от страха, пронесся и сам педагог, а мы с маленьким братом остались одни.

Из всей нашей компании не осталось никого: нас покинули не только все люди, но бесчеловечному примеру людей последовала и лошадь. Перепуганная их криком, она замотала головою и, повернув прочь от леса, помчалась домой, разбросав по ямам и рытвинам все, что еще оставалось до сих пор в тележке.

Это было не отступление, а полное и самое позорное бегство, потому что оно сопровождалось не только потерей обоза, но и утратою всего здравого смысла, причем мы, дети, были кинуты на произвол судьбы. Бог знает, что нам довелось бы испытать в нашем беспомощном сиротстве, которое было тем опаснее, что мы одни дороги домой найти не могли и наша обувь, состоявшая из мягких козловых башмачков на тонкой рантовой подшивке, не представляла удобства для перехода в четыре версты по сырым тропинкам, на которых еще во многих местах стояли холодные лужи. В довершение беды, прежде чем мы с братом успели себе представить вполне весь ужас нашего положения, по лесу что-то зарокотало, и потом с противоположной стороны от ручья на нас дунуло и потянуло холодной влагой.

Мы поглядели за лощину и увидели, что с той стороны, куда лежит наш путь и куда позорно бежала наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча с весенним дождем и с первым весенним громом, при котором молодые девушки умываются с серебряной ложеч-

ки, чтобы самим стать белей серебра. Видя себя в таком отчаянном положении, я готов был расплакаться, а мой маленький брат уже плакал. Он весь посинел и дрожал от страха и холода и, склоняясь головою под кустик, жарко молился богу. Бог, кажется, внял его детской мольбе, и нам было послано невидимое спасение. В ту самую минуту, когда прогремел гром и мы теряли последнее мужество, в лесу за кустами послышался треск, и из-за густых ветвей рослого орешника выглянуло широкое лицо незнакомого нам мужика. Лицо это показалось нам до такой степени страшным, что мы вскрикнули и стремглав бросились бежать к ручью.

Не помня себя, мы перебежали лощину, кувырком слетели с мокрого, осыпавшегося бережка и прямо очутились по пояс в мутной воде, между тем как ноги наши до колен увязли в тине. Бежать дальше не было никакой возможности. Ручей дальше был слишком глубоковод для нашего маленького роста, и мы не могли надеяться перейти через него, а притом по его струям теперь страшно сверкали зигзаги молнии – они трепетали и вились, как огненные змеи, и точно прятались в прошлогодних оставшихся водорослях.

Очутясь в воде, мы схватили друг друга за руки и стали в оцепенении, а сверху на нас уже падали тяжелые капли полившего дождя. Но это оцепенение и сохранило нас от большой опасности, которой мы никак бы не избежали, если бы сделали еще хотя один шаг далее в воду. Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, к счастью, нас обвили две черные жилистые руки - и тот самый мужик, который выглянул на нас страшно из орешника, ласково проговорил:

- Эх вы, глупые ребята, куда залезли! И с этим он взял и понес нас через ручей.

Выйдя на другой берег, он опустил нас на землю, снял с себя коротенькую свитку, которая была у него застегнута у ворота круглою медною пуговкою, и обтер эту свиткою наши мокрые ноги. Мы на него смотрели в это время совершенно потерянно и чувствовали себя вполне в его власти, но - чудное дело - черты его лица в наших глазах быстро менялись. В них мы уже не только не видели ничего страшного, но, напротив, лицо его нам казалось очень добрым и приятным. Это был мужик плотный, коренастый, с проседью в голове и в усах, - борода комком и тоже с проседью, глаза живые, быстрые и серьезные, но в устах что-то близкое к улыбке. Сняв с наших ног, насколько мог, грязь и тину полою своей свитки, он даже совсем улыбнулся и опять заговорил:

- Вы того... ничего... не пугайтесь...

С этим он оглянулся по сторонам и продолжал:

- Ничего; сейчас большой дождь пройдет! (Он уже шел и тогда.) Вам, ребяташки, пешком не дойти.

Мы в ответ ему только молча плакали.

- Ничего, ничего, не голосите, я вас донесу на себе! - заговорил он и утер своею ладонью заплаканное лицо брата, отчего у того сейчас же показались на лице грязные полосы.

- Вон ишь, какие мужичьи руки-то грязные, - сказал наш избавитель и провел еще раз по лицу брата ладонью в другую сторону, - отчего грязь не убавилась, а только получила растушовку в другую сторону.

- Вам не дойти... Я вас поведу... да, не дойти... и в грязи черевички спадут

- Умеете ли верхом ездить? - заговорил снова мужик.

Я взял смелость проронить слово и ответил:

- Умею.

- А умеешь, то и ладно! - молвил он и в одно мгновение вскинул меня на одно плечо, а брата - на другое, велел нам взяться друг с другом руками за его затылком, а сам покрыл нас своею свиткою, прижал к себе наши колена и понес нас, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала под его твердо ступавшими ногами, обутыми в большие лапти.

Мы сидели на его плечах, покрытые его свитою. Это, должно быть, выходила пребольшая фигура, но нам было удобно: свита замочла от ливня и залубенела так, что нам под нею и сухо и тепло было. Мы покачивались на плечах нашего носильщика, как на верблюде, и скоро впали в какое-то каталептическое состояние, а пришли в себя у родника, на своей усадьбе. Для меня лично это был настоящий глубокий сон, из которого пробуждение наступало не разом. Я помню, что нас разворачивал из свиты этот самый мужик, которого теперь окружали все наши Аннушки, и все они вырывали нас у него из рук и при этом самого его за что-то немилосердно бранили, и свитку его, в которой мы были им так хорошо сбережены, бросили ему с величайшим презрением на землю. Кроме того, ему еще угрожали приездом моего отца и тем, что они сейчас сбегают на деревню, позовут с цепями баб и мужиков и пустят на него собак.

Я решительно не понимал причины такой жестокой несправедливости, и это было не удивительно, потому что дома у нас, совсем господствовавшем теперь временном правлении, был образован заговор, чтобы нам ничего не открывать о том, кто был этот человек, которому мы были обязаны своим спасением.

- Ничем вы ему не обязаны, - говорили нам наши охранительницы, - а напротив, это он-то все и наделал.

По этим словам я тотчас же догадался, что нас спас не кто иной, как сам Селиван!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Оно так и было. На другой день, ввиду возвращения родителей, нам это открыли и взяли с нас клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей с нами истории. В те времена, когда водились крепостные люди, иногда случалось, что помещичьи дети питали к крепостной прислуге самые нежные чувства и крепко хранили их тайны. Так было и у нас. Мы даже покрывали, как умели, грехи и проступки "своих людей" перед родителями. Такие отношения упоминаются во многих произведениях, где описывается помещичий быт того времени. Что до меня, то мне наша детская дружба с нашими бывшими крепостными до сих пор составляет самое приятное и самое теплое воспоминание. Через них мы знали все нужды и все заботы бедной жизни их родных и друзей на деревне и учились жалеть народ. Но этот добрый народ, к сожалению, сам не всегда был справедлив и иногда был способен для очень неважных причин бросить на ближнего темную тень, не заботясь о том, какое это может иметь вредное влияние. Так поступал "народ" и с Селиваном, об истинном характере и правилах которого не хотели знать ничего основательного, но смело, не боясь погрешить перед справедливостью, распространяли о нем слухи, сделавшие его для всех пугалом. И, к удивлению, все, что о нем говорили, не только казалось вероятным, но даже имело какие-то видимые признаки, по которым приходилось думать, что Селиван в самом деле человек дурной и что вблизи его уединенного жилища происходят страшные злодеяния.

То же самое произошло и теперь, когда нас бранили те, на которых состояла обязанность охранять нас: они не только взвалили всю вину на Селивана, который спас нас от непогоды, но даже взвели на него новую напасть. Аполлинарий и все Аннушки рассказали нам, что когда Аполлинарий заметил в лесу хорошенький холм, с которого ему казалось удобно декламировать, - он побежал к этому холму через лощинку, засыпанную прошлогодним увядшим древесным листом, но здесь споткнулся на что-то мягкое. Это "мягкое" повернулось под ногами Аполлинария и заставило его упасть, а когда он стал вставать, то увидел, что это труп молодой крестьянской женщины. Он рассмотрел, что труп был в чистом белом са-

рафане с красным шитьем и... с перерезанным горлом, из которого лилась кровь...

От такой ужасной неожиданности, конечно, можно было и перепугаться и закричать, - как он и сделал; но вот что было непонятно и удивительно: Аполлинарий, как я рассказываю, был от всех других в отдалении и один споткнулся о труп убитой, но все Аннушки и Роськи клялись и божились, что они тоже видели убитую...

- Иначе, - говорили они, - мы разве бы так испугались?

И я о сию пору уверен, что они не лгали, что они были глубоко уверены в том, что видели в Селивановой лесу убитую бабу в чистом крестьянском уборе с красным шитьем и с перерезанным горлом, из которого струилась кровь... Как это могло случиться?

Так как я пишу не вымысел, а то, что действительно было, то должен здесь остановиться и примолвить, что случай этот так и остался навсегда необъяснимым в доме нашем. Убитую и лежавшую, по словам Аполлинария, под листом в ямке женщину не мог видеть никто, кроме Аполлинария, ибо никого, кроме Аполлинария, здесь не было. Между тем все клялись, что все видели, точно эта мертвая баба в одно мгновение ока проявилась на всех местах под глазами у каждого. Кроме того, видел ли в действительности такую женщину и Аполлинарий? Едва ли это было возможно, потому что дело это происходило в самую росталь, когда еще и снег не везде стаял. Древесный лист лежал под снегом с осени, а между тем Аполлинарий видел труп в чистом белом уборе с шитьем, и кровь из раны еще струилась... Ничего такого в этом виде положительного не могло быть, но между тем все крестились и клялись, что видели бабу как раз так, как сказано. И все после боялись ночью спать, и всем страшно было, точно все мы сделали преступление. Вскоре и я получил убеждение, что мы с братом тоже видели зарезанную бабу. Тут у нас началась всеобщая боязнь, окончившаяся тем, что все дело открылось родителям, а отец написал письмо исправнику - и тот приезжал к нам с предлинной саблей и всех расспрашивал по секрету в отцовском кабинете. Аполлинария исправник призывал даже два раза и во второй раз делал ему такое сильное внушение, что у того, когда он вышел, оба уха горели как в огне и из одного из них даже шла кровь.

Это мы тоже все видели. Но как бы то ни было, мы нашими рассказами причинили Селивану много горя: его обыскивали, осматривали весь его лес и самого его содержали долгое время под караулом, но ничего подозрительного у него не нашли, и следов виденной нами убитой женщины тоже никаких не оказа-

лось. Селиван опять вернулся домой, но это ему не помогло в общественном мнении: все с этих пор знали, что он несомненный, хотя и неуловимый злодей, и не хотели иметь с ним ровно никакого дела. А меня, чтобы я не подвергался усиленному воздействию поэтического элемента, отвезли в "благородный пансион", где я и начал усваивать себе общеобразовательные науки, в полной безмятежности, вплоть до приближения рождественских праздников, когда мне настало время ехать домой опять непременно мимо Селиванова двора и видеть в нем собственными глазами большие страхи.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дурная репутация Селивана давала мне большой апломб между моими пансионскими товарищами, с которыми я делился моими сведениями об этом страшном человеке. Из всех моих пансионерских сверстников ни один еще не переживал таких страшных ощущений, какими я мог похвастаться, и теперь, когда мне опять предстояло проехать мимо Селивана, - к этому никто не отнесся безучастно и равнодушно. Напротив, большинство товарищей меня сожалели и прямо говорили, что они не хотели бы быть на моем месте, а два или три смельчака мне завидовали и хвалились, что они бы очень хотели встретиться лицом к лицу с Селиваном. Но двое из этих были записные хвастунишки, а третий мог никого не бояться, потому что, по его словам, у его бабушки в старинном венецианском кольце был "таусинный камень", с которым к человеку "никакая беда непреступна" [Таусинный камень, или таусень - светлый сафир о оттенком Павлиньево пера, в старину считался спасительным талисманом. У Грозного был такой талисман тоже в кольце или, по-старинному, в "напалке". "Напалка золотная жуковиною (перстнем), а в ней камень таусень, а в том муть и как бы пузырька зрится". (Примеч. авт.)]. У нас же в семье такой драгоценности не было, да и притом я должен был совершить мое рождественское путешествие не на своих лошадях, а с тетушкой, которая как раз перед святками продала дом в Орле и, получив за него тридцать тысяч рублей, ехала к нам, чтобы там, в наших краях, купить давно приторгованное для нее моим отцом имение.

К досаде моей, сборы тетушки целые два дня задерживались какими-то важными деловыми обстоятельствами, и мы выехали из Орла как раз утром в рождественский сочельник. Ехали мы в просторной рогожной троечной кибитке с кучером Спиридоном и молодым лакеем Борискою. В экипаже помещались те-

тушка, я, мой двоюродный брат, маленькие кузины и няня - Любовь Тимофеевна.

На порядочных лошадях при хорошей дороге до нашей деревеньки от Орла можно было доехать в пять или шесть часов. Мы приехали в Кромы в два часа и остановились у знакомого купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у нас была в обычае, да ее требовал и туалет моей маленькой кузины, которую еще пеленали.

Погода была хорошая, близкая почти к оттепели; но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить, и потом "закурило", то есть помело по земле мелким снежком. Тетушка была в раздумье: переждать ли это или, напротив, поспешить, ехать скорее, чтобы успеть добраться к нам домой ранее, чем может разыграться непогода.

Проехать оставалось с небольшим двадцать верст. Кучер и лакей, которым хотелось встретить праздник с родными и приятелями, уверяли, что мы успеем доехать благополучно - лишь бы только не медлить и выезжать скорее. Мои желания и желания тетушки тоже вполне отвечали тому, чего хотели Спиридон и Бориска. Никто не хотел встретить праздник в чужом доме, в Кромах. Притом же тетушка была недоверчива и мнительна, а с нею теперь была такая значительная сумма денег, помещавшаяся в красного дерева шкатулочке, закрытой чехлом из толстого зеленого фризса.

Ночевать с таким денежным богатством в чужом доме тетушке казалось очень небезопасным, и она решила послушаться совета наших верных слуг. С небольшим в три часа кибитка наша была запряжена, и мы выехали из Кром по направлению к раскольницкой деревне Колчеве; но едва лишь переехали по льду через реку Кромку, как почувствовали, что нам как бы вдруг не достало воздуха, чтобы дышать полною грудью. Лошади бежали шибко, пофыркивали и мотали головами - это составляло верный признак, что и они тоже испытывали недостаток воздуха. Между тем экипаж несся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Ветер был нам в зад и как бы гнал нас с усиленною скоростью к какой-то предначертанной меже. Скоро, однако, бойкий след по пути стал "заикаться"; по дороге пошли уже мягкие снеговые переносы, - они начали встречаться все чаще и чаще, наконец вскоре прежнего бойкого следа сделалось во все не видно.

Тетушка тревожно выглянула из возка, чтобы спросить кучера, верно ли мы держимся дороги, и сейчас же откинулась назад, потому что ее обдало мелкою холодною пылью, и, прежде чем мы успели дозваться к себе людей с козел, снег понесся густыми хлопьями, небо

в мгновение стемнело, и мы очутились во власти настоящей снеговой бури.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Ехать назад к Кромам было так же опасно, как и ехать вперед. Даже позади чуть ли не было более опасности, потому что за нами осталась река, на которой было под городом несколько прорубей, и мы при метели легко могли их не разглядеть и попасть под лед, а впереди до самой нашей деревеньки шла ровная степь и только на одной седьмой версте - Селиванов лес, который в метель не увеличивал опасности, потому что в лесу должно быть даже тише. Притом в глубь леса проезжей дороги не было, а она шла по опушке. Лес нам мог быть только полезным указанием, что мы проехали половину дороги до дому, и потому кучер Спиридон погнался лошадей пошибче.

Дорога все становилась тяжелее и снежистее: прежнего веселого стука под полозьями не было и помина, а напротив, возок полз по рыхлому наносу и скоро начал бочить то в одну, то в другую сторону.

Мы потеряли спокойное настроение духа и начали чаще осведомляться о нашем положении у лакея и у кучера, которые давали нам ответы неопределенные и нетвердые. Они старались внушить нам уверенность в нашей безопасности, но, очевидно, и сами такой уверенности в себе не чувствовали. Через полчаса скорой езды, при которой кнут Спиридона все чаще и чаще щелкал по лошадам, мы были обрадованы восклицанием:

- Вот Селиванкин лес завиднелся.

- Далеко он? - спросила тетушка.

- Нет, вот совсем до него доехали.

Это так и следовало - мы ехали от Кром уже около часа, но прошло еще добрых полчаса - мы все едем, и кнут хлещет по коням все чаще и чаще, а леса нет.

- Что же это такое? Где Селиванов лес? С козел ничего не отвечают.

- Где же лес? - переспрашивает тетушка, - проехали мы его, что ли?

- Нет, еще не проезжали, - глухо, как бы из-под подушки, отвечает Спиридон.

- Да что же это значит? Молчание.

- Подите вы сюда! Остановитесь! Остановитесь!

Тетушка выглянула из-за фартука и из всех сил отчаянно крикнула: "Остановитесь!", а сама упала назад в возок, куда вместе с нею ввалилось целое облако снежных шапок, которые, подчиняясь влиянию ветра, еще не сразу сели, а тряслись, точно реющие мухи. Кучер остановил лошадей, и прекрасно сделал, потому что они тяжело носили животами и шатались от усталости. Если бы им не дать в эту мину-

ту передышки, бедные животные, вероятно, упали бы.

- Где ты? - спросила тетушка сошедшего Бориса.

Он был на себя непохож. Перед нами стоял не человек, а снежный столб. Воротник волчьей шубы у Бориса был поднят вверх и обвязан каким-то обрывком. Все это пропустило снегом и слепило в одну кучу. Борис был не знаток дороги и робко отвечал, что мы, кажется, сбились.

- Позови сюда Спиридона.

Звать голосом было невозможно: метель всем затыкала рты и только сама одна редела и выла на просторе с ужасающим ожесточением. Бориска полез на козла, чтобы потянуть Спиридона рукою, но ему на это потребовалось потратить очень много времени, прежде чем он стал снова у возка и объяснил:

- Спиридона нет на козлах!

- Как нет! где же он?

- Я не знаю. Верно, сошел поискать следа. Позвольте, и я пойду.

- О господи! Нет, не надо, - не ходи; а то вы оба пропадете, и мы все замерзнем.

Услышав это слово, я и мой кузен заплакали, но в это же самое мгновение у возка рядом с Борисушкой появился другой снеговой столб, еще более крупный и страшный.

Это был Спиридон, надевший на себя запасной мочальный кулек, который стоял вокруг его головы, весь набитый снегом и обмерзлый.

- Где же ты видел лес, Спиридон?

- Видел, сударыня.

- Где же он теперь?

- И теперь видно.

Тетушка хотела посмотреть, но ничего не увидела, все было темно. Спиридон уверял, что это оттого, что она "необсмотремши"; но что он очень давно видит, как лес чернеет, но... только в том беда, что к нему подъезжаем, а он от нас отъезжает.

- Все это, воля ваша, Селивашка делает. Он нас куда-то заводит.

Услышав, что мы попали в такую страшную пору в руки злодея Селивашки, мы с кузеном заплакали еще громче, но тетушка, которая была по рождению деревенская барышня и потом полковая дама, она не так легко терялась, как городские дамы, которым всякие невзгоды меньше знакомы. У тетушки были опыт и сноровка, и они нас спасли из положения, которое в самом деле было очень опасно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Не знаю: верила или не верила тетушка в злое волшебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что теперь всего важнее для наше-

го спасения, чтобы не выбились из сил наши лошади. Если лошади изнурятся и станут, а мороз закрепчает, то все мы непременно погибнем. Нас удушит буря и мороз заморозит. Но если лошади сохранят силу для того, чтобы брести как-нибудь шаг за шагом, то можно питать надежду, что кони, идучи по ветру, сами выйдут как-нибудь на дорогу и привезут нас к какому-нибудь жилью. Пусть это будет хоть нетопленая избушка на курьих ножках в овражке, но все же в ней хоть не бьет так сердито вьюга и нет этого дерганья, которое ощущается при каждом усилии лошадей переставить их усталые ноги... Там бы можно было уснуть... Уснуть ужасно хотелось и мне и моему кузену. На этот счет из нас счастлива была только одна маленькая, которая спала за теплою заячьей шубкой у няни, но нам двум не давали засыпать. Тетушка знала, что это страшно, потому что сонный скорее замерзнет. Положение наше с каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли и сидевшие на козлах кучер и лакей начали от стужи застывать и говорить невнятным языком, а тетушка перестала обращать внимание на меня с братом, и мы, прижавшись друг к другу, разом уснули. Мне даже виделось веселые сны: лето, наш сад, наши люди, Аполлинарий, и вдруг все это перескочило к поездке за ландышами и к Селивану, про которого не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось... так что никак не разберу, что происходит во сне, что наяву. Чувствуется холод, слышится вой ветра и тяжелое хлопанье рогожки на крышке возка, а прямо перед глазами стоит Селиван, в свитке на одно плечо, а в вытянутой к нам руке держит фонарь... Видение это, сон или картина фантазии?

Но это был не сон, не фантазия, а судьбе действительно угодно было привести нас в эту страшную ночь в страшный двор Селивана, и мы не могли искать себе спасения нигде в ином месте, потому что кругом не было вблизи никакого другого жилья. А между тем с нами была еще тетушкина шкатулка, в которой находилось тридцать тысяч ее денег, составлявших все ее состояние. Как остановиться с таким соблазнительным богатством у такого подозрительного человека, как Селиван?

Конечно, мы погибли! Впрочем, выбор мог быть только в том, что лучше - замерзнуть ли на вьюге или пасть под ножом Селивана и его злых сообщников?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Как во время короткого мгновения, когда сверкнет молния, глаз, находившийся в темноте, вдруг различает разом множество пред-

метов, так и при появлении осветившего нас Селиванова фонаря я видел ужас всех лиц нашего бедствующего экипажа. Кучер и лакей чуть не повалились перед ним на колена и остолбенели в наклоне, тетушка подалась назад, как будто хотела продавить спинку кибитки. Няня же припала лицом к ребенку и вдруг так сократилась, что сама сделалась не больше ребенка.

Селиван стоял молча, но... в его некрасивом лице я не видал ни малейшей злости. Он теперь казался только сосредоточеннее, чем тогда, когда нес меня на закорках. Оглядев нас, он тихо спросил:

- Отогреться, что ли?..

Тетушка оправилась скорее других и ответила ему:

- Да, мы замерзаем... Спаси нас!

- Пусть бог спасет! Въезжайте - изба топленая.

И он сошел с порога и стал светить фонарем в кибитке. Между прислугою, тетушкою и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы, обнаружившие со стороны нашей недоверие к хозяину и страх, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронию и, пожалуй, тоже своего рода недоверие.

Кучер спрашивал, есть ли корм лошадям? Селиван отвечал: - Поищем. Лакей Борис узнавал, есть ли другие проезжие?

- Взойдешь - увидишь, - отвечал Селиван.

Няня проговорила: - Да у тебя не страшно ли оставаться? Селиван отвечал; - Страшно, так не заходи.

Тетушка остановила их, сказавши каждому как могла тише:

- Оставьте, не перекоряйтесь, - все равно это ничему не поможет. Дальше ехать нельзя. Останемся на волю божью.

И между тем, пока шла эта перемолвка, мы очутились в дощатом отделении, отгороженном от просторной избы. Впереди всех вошла тетушка, а за нею Борис внес ее шкатулку. Потом вошли мы с кузеном и няня. Шкатулку поставили на стол, а на нее поставили жестяной оплывший салом подсвечник с небольшим огарком, которого могло достать на один час, не больше. Практическая сообразительность тетушки сейчас же обратилась к этому предмету, то есть к свечке.

- Прежде всего, - сказала она Селивану, - принеси-ка мне, батюшка, новую свечку.

- Вот свечка.

- Нет, ты дай новую, целую!

- Новую, целую? - переспросил Селиван, опираясь одною рукою на стол, а другой о шкатулку.

- Давай поскорей новую, целую свечку.

- Зачем тебе целую?
 - Это не твое дело - я не скоро спать лягу.
- Может быть, буря пройдет - мы поедем.
- Буря не пройдет.
 - Ну все равно - я тебе за свечку заплачу.
 - Знамо заплатила б, да нет у меня свечки.
 - Поищи, батюшка!
 - Что неположенного искать попусту!

В этот разговор вмешался неожиданно слабый-преслабый тонкий голос из-за перегородки.

- Нет у нас, матушка, свечечки.
- Кто это говорит? - спросила тетушка.
- Моя жена.

Лица тетки и няни немножко просияли.

Близкое присутствие женщины, казалось, имело что-то ободрительное.

- Что она, больна, что ли?
- Больна.
- Чем?

- Хворостью. Ложитесь, мне огарок в фонарь нужен. Надо лошадей ввезть.

И как с Селиваном ни разговаривали, он стоял на своем: что огарок ему необходим, да и только. Он обещал принести его снова - но пока взял его и вышел. Исполнил ли Селиван свое обещание принести назад огарок, - этого я уже не видел, потому что мы с кузеном опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сон я слышал иногда шушуканье тетушки с няней и улавливал в этом шепоте чаще всего слово "шкатулка".

Очевидно, няня и другие наши люди знали, что в этом ларце сокрыты большие драгоценности, и все заметили, что шкатулка с первого же мгновения остановила на себе алчное внимание нашего неблагонадежного хозяина. Обладавшая большою житейскою опытностью, тетушка моя видела явную необходимость подчиняться обстоятельствам, но зато тотчас же сделала соответственные опасному положению распоряжения. Чтобы Селиван не зарезал нас, решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов, и кучеру —с лакеем сидеть обним в повозке: они не должны были разъединяться, потому что поодиночке Селиван их перебьет, и мы тогда останемся беспомощны. Тогда он убьет, конечно, и нас и всех нас зарыет под полом, где зарыто уже и без того множество жертв его лютости. В избе с нами кучер и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиван обрежет гужи в коренном хомуте, чтобы нельзя было запречь лошадей, или совсем сдаст всю тройку своим товарищам, которые у него пока где-то припрятаны. В таком случае нам не на чем будет и спасаться, между тем как очень может статься, что метель скоро уляжется, и тогда кучер станет

запрягать, а Борис стукнет три раза в стенку, и мы все бросимся на двор, сядем и уедем. Для того чтобы быть постоянно наготове, и из нас никто не раздевался. Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочих, но для нас, двух спящих мальчиков, оно пролетело как одно мгновение, которое вдруг завершилось ужаснейшим пробуждением.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Я проснулся оттого, что мне стало невыносимо тяжело дышать. Открыв глаза, я не увидел ничего ровно, потому что вокруг меня было темно, но только в отдалении что-то как будто серело: это обозначалось окно. Но зато, как при свете Селиванова фонаря, я разом увидел лица всех бывших на той ужасной сцене людей, так теперь я в одно мгновение вспомнил все - кто я, где я, зачем я здесь, кто есть у меня милые и дорогие в отцовском доме, - и мне стало всего и всех жалко, и больно, и страшно, и мне хотелось закричать, но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человеческою рукою, а на ухо трепетный голос шептал мне:

- Ни звука, молчи, ни звука! Мы погибли - к нам ломятся.

Я узнал теткин голос и пожал ее руку в знак того, что я понимаю ее требование. За дверями, которые выходили в сени, слышался шорох... кто-то тихо переступал с ноги на ногу и водил по стене руками... Очевидно, этот злодей искал, но никак не мог найти двери...

Тетушка прижала нас к себе и прошептала, что бог нам еще может помочь, потому что в дверях ею устроено укрепление. Но в это же самое мгновение, может быть именно потому, что мы выдали себя своим шепотом и дрожью, за тесовой перегородкой, где была изба и откуда при разговоре о свечке отзывалась жена Селивана, кто-то выбежал и сцепился с тем, кто тихо подкрадывался к нашей двери, и они вдвоем начали ломиться; дверь затрещала, и к нашим ногам полетели стол, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а в самой распахнувшейся двери появилось лицо . Бориса, за шею которого держались могучие руки Селивана...

Увидав это, тетушка закричала на Селивана и бросилась к Борису.

- Матушка! Бог спас, - хрипел Борис. Селиван принял свои руки и стоял.

- Скорее, скорей вон отсюда, - заговорила тетушка. - Где наши лошади?

- Лошади у крыльца, матушка, я только хотел вас вызвать... А этот разбойник... бог спас, матушка! - лепетал скороговоркою Борис, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дороге все, что попало. Все врозь бросились в

двери, вскочили в повозку и понеслись вскачь, сколько было конской мочи. Селиван, казалось, был жестоко переконфужен и смотрел нам вслед. Он, очевидно, знал, что это не может пройти без последствий. На дворе теперь светало, и перед нами на востоке горела красная, морозная рождественская заря.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Мы доехали до дому не более как в полчаса, во все время безмолжно толкуя о пережитых нами страхах. Тетушка, няня, кучер и Борис все перебивали друг друга и беспрестанно крестились, благодаря бога за наше удивительное спасение. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей беспрестанно слышалось, как кто-то несколько раз подходил, пробовал отворить двери. Это и понудило ее загромоздить вход всем, что попало под ее руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шепот за перегородкою у Селивана, и ей казалось, что он не раз тихонько отворял свою дверь, выходил в сени и тихонько пробовал за скобку нашей двери. Все это слышала и няня, хотя она, по ее словам, минутами засыпала. Кучер и Борис видели более всех. Боясь за лошадей, кучер не отходил от них ни на минуту, но Борисушка не раз подходил к нашим дверям и всякий раз, как подходил он, - сию же минуту появлялся из своих дверей и Селиван. Когда буря перед рассветом утихла, кучер и Борис тихонько запрягли лошадей и тихонько же выехали, сами отперев ворота; но когда Борис также тихо подошел опять к нашей двери, чтобы нас вывести, тут Селиван увидал, что добыча уходит у него из рук, бросился на Бориса и начал его душить. Слава богу, конечно, что это ему не удалось, и он теперь уже не отделается одними подозрениями, как отделывался до сих пор: его злые намерения были слишком ясны и слишком очевидны, и все это происходило не с глазу на глаз с каким-нибудь одним человеком, а при шести свидетелях, из которых тетушка одна стояла по своему значению нескольких, потому что она слыла во всем городе умницею и к ней, несмотря на ее среднее состояние, заезжал с визитами губернатор, а наш тогдашний исправник был ей обязан устройством своего семейного благополучия. По одному ее слову он, разумеется, сейчас же возьмется расследовать дело по горячим следам, и Селивану не миновать петли, которую он думал накинуть на наши шеи.

Сами обстоятельства, казалось, слагались так, что все собиралось к немедленному отмщению за нас Селивану и к наказанию его за зверское покушение на нашу жизнь и имущество. Подъезжая к своему дому, за родником

на горе, мы встретили верхового парня, который, завидев нас, чрезвычайно обрадовался, заболтал ногами по бокам лошади, на которой ехал, и, сняв издали шапку, подскочил к нам с сияющим лицом и начал рапортовать тетушке, какое мы причинили дома всем беспокойство.

Оказалось, что отец, мать и все домашние тоже не спали. Нас непременно ждали, и с тех пор, как вечером начала разыгрываться метель, все были в большой тревоге - не сбились ли мы с дороги или не случилось ли с нами какое-нибудь другое несчастье: могла сломаться в ухабе оглобля, - могли напасть волки... Отец высылал навстречу нам несколько человек верховых людей с фонарями, но буря рвала из рук и гасила фонари, да и ни люди, ни лошади никак не могли отбиться от дома. Топочется человек очень долго - все ему кажется, будто он едет против бури, и вдруг остановка, и лошадь ни с места далее. Седок ее понуждает, хотя и сам едва дышит от задухи, но конь не идет... Вершник слезет, чтобы взять за повод и провести оробевшее животное, и вдруг, к удивлению своему, открывает, что лошадь его стоит, упершись лбом в стену конюшни или сарая... Только один из разведчиков уехал немножко далее и имел настоящую дорожную встречу: это был шорник Прохор. Ему дали выносную фореиторскую лошадь, которая закусывала между зубами удила, так что железо до губ ее не дотрагивалось, и ей через то становились нечувствительны никакие удержки. Она и понесла Прохора в самый ад метели и скакала долго, брыкая задом и загибая голову к передним коленам, пока, наконец, при одном таком вольте шорник перелетел через ее голову и всею своею фигурою ввалился в какую-то странную кучу живых людей, не оказавших, впрочем, ему с первого раза никакого дружелюбия. Напротив, из них кто-то тут же снабдил его тумаком в голову, другой сделал поправку в спину, а третий стал мять ногами и приталкивать чем-то холодным, металлическим и крайне неудобным для ощущения.

Прохор был малый не промах, - он понял, что имеет дело с особенными существами, и неистово закричал. Испытываемый им ужас, вероятно, придал его голосу особенную силу, и он был немедленно услышан. Для спасения его тут же, в трех от него шагах, показалось "огненное светение". Это был огонь, который выставили на окне в нашей кухне, под стеною которой приютились исправник, его письмоводитель, рассыльный солдат и ямщик с тройкою лошадей, увязших в сугробе. Они тоже сбились с дороги и, попав к нашей кухне, думали, что находятся где-то на лугу у сенного омета. Их откопали и просили кого на кухню, кого в дом, где исправник теперь и кушал чай,

собираясь поспеть к своим в город ранее, чем они проснутся и встревожатся его отсутствием после такой ненастной ночи.

- Вот это прекрасно, - сказала тетушка, - исправник теперь всех нужнее.

- Да! он барин хватский, - он Селивашке за-даст! - подхватили люди, и мы понеслись вскачь и подкатили к дому, когда исправникова тройка стояла еще у нашего крыльца.

Сейчас исправнику все расскажут, и через полчаса разбойник Селиван будет уже в его руках.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Мой отец и исправник были поражены тем, что мы перенесли в дороге и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами...

Кстати, о деньгах. При упоминании о них, тетушка сейчас же воскликнула:

- Ах, боже мой! да где же моя шкатулка?

В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи? Представьте себе, что ее не было! Да, да, ее-то одной только и не было ни в комнатах между внесенными вещами, ни в повозке - словом, нигде... Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь - в руках Селивана... Или... может быть, даже он ее еще ночью выкрал, Ему ведь это было возможно; он, как хозяин, мог знать все щелки своего дрянного дома, и этих щелок у него, наверно, немало... Могла у него быть и подъемная половица и приставная дощечка в перегородке.

И едва только опытным в выслеживании разбойничьих дел исправником было высказано последнее предположение о приставной дощечке, которую Селиван мог ночью тихонько отставить и через нее утащить шкатулку, как тетушка закрыла руками лицо и упала в кресло. Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее в уголок под лавкою, которая приходилась к перегородке, отделяющей наше ночное помещение от той части избы, где оставался сам Селиван с его женою...

- Ну, вот оно и есть! - воскликнул, радуясь верности своих опытных соображений, исправник. - Вы сами ему подставили вашу шкатулку!.. но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто ее не хватился, когда вам пришло время ехать.

- Да боже мой! мы были все в таком страхе! - стонала тетушка.

- И это правда, правда; я вам верю, - говорил исправник, - вам было чего напугаться, но все-таки... такая большая сумма... такие хорошие деньги. Я сейчас скачу, скачу туда... Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдет! Наше счастье, что все знают, что он

вор, и все его не любят: его никто не станет скрывать... А впрочем - теперь у него в руках есть деньги... он может делиться... Надо спешить... Народ ведь шельма... Прощайте, я еду. А вы успокойтесь, примите капли... Я их воровскую натуру знаю и уверяю вас, что он будет пойман.

И исправник опоясался своею саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и... через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша, вошел Селиван с тетушкиной шкатулкой в руках.

Все вскочили с мест и остановились как вкопанные.

- Укладочку забыли, возьмите, - глухо произнес Селиван.

Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задышался от непомерной скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения. Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прощенный, сел на стул и опустил голову и руки.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Шкатулка была в полной целости. Тетушка сняла с шеи ключик, отперла ее и воскликнула:

- Все, все как было!

- Сохранно... - тихо молвил Селиван. - Я все бег за вами... хотел догнать... не сдужал... Простите, что сижу перед вами... задохнулся.

Отец первый подошел к нему, обнял его и поцеловал в голову.

Селиван не трогался. Тетушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки. Селиван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал.

- Возьми что тебе дают, - сказал исправник.

- За что? - не надо!

- За то, что ты честно сберег и принес забытые у тебя деньги.

- А то как же? Разве надо не честно?

- Ну, ты... хороший человек... ты не подумал утаить чужое.

- Утаить чужое!.. - Селиван покачал головою и добавил: - Мне не надо чужого.

- Но ведь ты беден - возьми это себе на поправку! - ласкала его тетушка.

- Возьми, возьми, - убеждал его мой отец. - Ты имеешь на это право.

- Какое право?

Ему сказали про закон, по которому всякий, кто найдет и возвратит потерянное, имеет право на третью часть находки.

- Что такой за закон, - отвечал он, снова отстраняя от себя тетушкину руку с бумажками. - Чужою бедою не разживешься... Не надо! - прощайте!

И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку, но отец его не пустил: он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ, а потом через час велел запирать сани и отвезти его домой. Через день об этом происшествии знали в городе и в округе, а через два дня отец с тетушкой поехали в Кромы и, остановившись у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене теплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и еще привезли ему подарков: чаю, сахару и муки. Он брал все вежливо, но неохотно и говорил:

- На что? Ко мне теперь, вот уже три дня, все стали люди заезжать...пошел доход... щи варили... Нас не боятся, как прежде боялись.

Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай и все смотрел ему в лицо и думал:

"Какое у него прекрасное, доброе лицо! Отчего же он мне и другим так долго казался пугалом?" Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое... Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. И так долго все выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Я был очень счастлив в своем детстве в том отношении, что первые уроки религии мне были даны превосходным христианином. Это был орловский священник Остромыслений - хороший друг моего отца и друг всех нас, детей, которых он умел научить любить правду и милосердие. Я не рассказывал товарищам ничего о том, что произошло с нами в рождественскую ночь у Селивана, потому что во всем этом не было никакой похвалы моей храбрости, а, напротив, над моим страхом можно было посмеяться, но я открыл все мои приключения и сомнения отцу Ефиму. Он меня поласкал рукою и сказал:

- Ты очень счастлив; твоя душа в день рождества была - как ясли для святого младенца, который пришел на землю, чтоб пострадать за несчастных. Христос озарил для тебя тьму, которою окутывало твое воображение - пусторечие темных людей. Пугало было не Селиван, а вы сами, - ваша к нему подозрительность, которая никому не позволяла видеть его добрую совесть. Лицо его казалось вам темным, потому что око ваше было темно. Наблюдай это для того, чтобы в другой раз не быть таким же слепым.

Это был совет умный и прекрасный. В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с

Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почетным.

В новом имении, которое купила тетушка, был хороший постоялый двор на проезжем трактовом пункте. Этот двор она и предложила Селивану на хороших для него условиях, и Селиван это принял и жил в этом дворе до самой своей кончины. Тут сбылись мои давние детские сны: я не только близко познакомился с Селиваном, но мы питали один к другому полное доверие и дружбу. Я видел, как изменилось к лучшему его положение - как у него в доме водворилось спокойствие и мало-помалу заводился достаток; как вместо прежних хмурых выражений на лицах людей, встречавших Селивана, теперь все смотрели на него с удовольствием. И действительно, вышло так, что как только просветились очи окружавших Селивана, так сделалось светлым и его собственное лицо.

Из тетушкиных людей Селивана особенно не любил лакей Борисушка, которого Селиван чуть не задушил в ту памятную нам рождественскую ночь. Над этой историей иногда подшучивали. Случай этой ночи объяснялся тем, что как у всех было подозрение - не ограбил бы тетушку Селиван, так точно и Селиван имел сильное подозрение: не завезли ли нас кучер и лакей на его двор нарочно с тем умыслом, чтобы украсть здесь ночью тетушкины деньги и потом свалить все удобнейшим образом на подозрительного Селивана. Недоверие и подозрительность с одной стороны вызывали недоверие же и подозрения - с другой, - и всем казалось, что все они - враги между собою и все имеют основание считать друг друга людьми, склонными ко злу.

Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову евангелия, делает око и сердце наше чистыми.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Остается досказать, отчего же, однако, с тех пор, как Селиван ушел от калачника, он стал угрюм и скрытен? Кто тогда его огорчил и оттолкнул? Отец мой, будучи расположен к этому доброму человеку, все-таки думал, что у него есть какая-то тайна, которую Селиван упорно скрывает.

Это так и было, но Селиван открыл свою тайну одной только тетушке моей, и то после нескольких лет жизни в ее имении и после того, когда у Селивана умерла его всегда болевшая жена. Когда я раз приехал к тетушке, бывши уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиване, который и сам незадолго перед тем умер, то тетушка рассказала мне его тайну.

Дело заключалось в том, что Селиван, по нежной доброте своего сердца, был тронут горестной судьбою беспомощной дочери умершего в их городе отставного палача. Девочку эту никто не хотел приютить, как дитя человека презренного. Селиван был беден, и притом он не мог решиться держать у себя палачову дочку в городке, где ее и его все знали. Он должен был скрывать от всех ее происхождение, в котором она была неповинна. Иначе она не избежала бы тяжких попреков от людей, неспособных быть милостивыми и справедливыми. Селиван скрывал ее потому, что постоянно боялся, что ее узнают и оскорбят, и эта скрытность и тревога сообщились всему его существу и отчасти на нем отпечатлелись.

Так, каждый, кто называл Селивана "пугалом", в гораздо большей мере сам был для него "пугалом".

